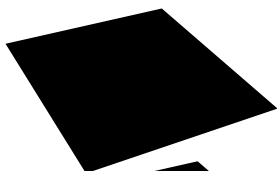


ПРОЗА ВИКТОРА
ПЕЛЕВИНА



ВИКТОР
ЧАПАЕВ И ПУСТОТА
ПЕЛЕВИН



МОСКВА
2022

УДК 821.161.1-31
ББК 84(2Рос=Рус)6-44
П24

Оформление серии «Pocketbook»
Андрея Саукова

Оформление серии «Проза Виктора Пелевина»
Сергея Власова

Пелевин, Виктор Олегович.
П24 Чапаев и Пустота / Виктор Пелевин. —
Москва : Эксмо, 2022. — 416 с.

ISBN 978-5-699-37419-9 (Pocketbook)

ISBN 978-5-699-84183-7 (Проза ВП)

Роман «Чапаев и Пустота» сам автор характеризует так: «Это первое произведение в мировой литературе, действие которого происходит в абсолютной пустоте». На самом деле оно происходит в 1919 году в дивизии Чапаева, в которой главный герой, поэт-декадент Петр Пустота, служит комиссаром. А также в наши дни. А также, как и всегда у Пелевина, в виртуальном пространстве, где с главным героем встречаются Кавабата, Шварценеггер, «просто Мария»... По мнению критиков, «Чапаев и Пустота» является «первым серьезным дзен-буддистским романом в русской литературе».

УДК 821.161.1-31
ББК 84 (2Рос=Рус)6-44

ISBN 978-5-699-37419-9
ISBN 978-5-699-84183-7

© В. О. Пелевин, 1996
© Оформление.
ООО «Издательство «Эксмо», 2022

Глядя на лошадиные морды и лица людей, на безбрежный живой поток, поднятый моей волей и мчащийся в никуда по багровой закатной степи, я часто думаю: где Я в этом потоке?

Чингиз-хан

Имя действительного автора этой рукописи, созданной в первой половине двадцатых годов в одном из монастырей Внутренней Монголии, по многим причинам не может быть названо, и она печатается под фамилией подготовившего ее к публикации редактора. Из оригинала исключены описания ряда магических процедур, а также значительные по объему воспоминания повествователя о его жизни в дореволюционном Петербурге (т.н. «Петербургский Период»). Данное автором жанровое определение — «особый взлет свободной мысли» — опущено; его следует, по всей видимости, расценивать как шутку.

История, рассказываемая автором, интересна как психологический дневник, обладающий рядом несомненных художественных достоинств, и ни в коей мере не претендует на что-то большее, хотя порой автор и берется обсуждать предметы, которые, на наш взгляд, не нуждаются ни в каких обсуждениях. Некоторая судорожность повествования объясняется тем, что целью написания этого текста было не создание «литературного произведения», а фиксация механических циклов сознания с целью окончательного излечения от так называемой внутренней жизни. Кроме того, в двух или трех местах автор пытается скорее непосредственно указать на ум читателя, чем заставить его уви-

Виктор Пелевин

деть очередной слепленный из слов фантом; к сожалению, эта задача слишком проста, чтобы такие попытки могли увенчаться успехом. Специалисты по литературе, вероятно, увидят в нашем повествовании всего лишь очередной продукт модного в последние годы критического солипсизма, но подлинная ценность этого документа заключается в том, что он является первой в мировой культуре попыткой отразить художественными средствами древний монгольский миф о Вечном Невозвращении.

Теперь скажем несколько слов о главном действующем лице книги. Редактор этого текста однажды прочел мне танка поэта Пушкина:

*И мрачный год, в который пало столько
Отважных, добрых и прекрасных жертв,
Едва оставил память о себе
В какой-нибудь простой пастушьей песне,
Унылой и приятной.*

В переводе на монгольский словосочетание «отважная жертва» звучит странно. Но здесь не место углубляться в эту тему — мы только хотели сказать, что последние три строки этого стихотворения в полной мере могут быть отнесены к истории Василия Чапаева.

Что знают сейчас об этом человеке? Насколько мы можем судить, в народной памяти его образ приобрел чисто мифологические черты, и в русском фольклоре Чапаев является чем-то вроде знаменитого Ходжи Насреддина. Он герой бесконечного количества анекдотов, основанных на известном фильме тридцатых годов. В этом фильме Чапаев представлен красным кавалерийским командиром, который сражается с белыми, ведет длинные задушевные разговоры со своим адъютантом.

тантом Петькой и пулеметчицей Анкой и в конце тонет, пытаясь переплыть реку Урал во время атаки белых. Но к жизни реального Чапаева это не имеет никакого отношения, а если и имеет, то подлинные факты неузнаваемо искажены домыслами и недомолвками.

Вся эта путаница связана с книгой «Чапаев», которая была впервые напечатана одним из парижских издательств на французском языке в 1923 году и со странной поспешностью переиздана в России. Не станем тратить времени на доказательства ее неаутентичности. Любой желающий без труда обнаружит в ней массу неувязок и противоречий, да и сам ее дух — лучшее свидетельство того, что автор (или авторы) не имели никакого отношения к событиям, которые пытаются описать. Заметим кстати, что, хотя господин Фурманов и встречался с историческим Чапаевым по меньшей мере дважды, он никак не мог быть создателем этой книги по причинам, которые будут видны из нашего повествования. Невероятно, но приписываемый ему текст многие до сих пор воспринимают чуть ли не как документальный.

За этим существующим уже более полувека подлогом несложно увидеть деятельность щедро финансируемых и чрезвычайно активных сил, которые заинтересованы в том, чтобы правда о Чапаеве была как можно дольше скрыта от народов Евразии. Но сам факт обнаружения настоящей рукописи, как нам кажется, достаточно ясно говорит о новом балансе сил на континенте.

И последнее. Мы изменили название оригинального текста (он озаглавлен «Василий Чапаев») именно во избежание путаницы с распространенной подделкой. Название «Чапаев и Пустота» выбрано как наиболее

Виктор Пелевин

простое и несуггестивное, хотя редактор предлагал два других варианта — «Сад расходящихся Петек» и «Черный бублик».

Посвящаем созданную этим текстом заслугу благу всех живых существ.

Ом мани падме хум.

*Урган Джамбон Тулку VII,
Председатель Буддийского Фронта
Полного и Окончательного Освобождения
(ПОО (б))*

Тверской бульвар был почти таким же, как и два года назад, когда я последний раз его видел — опять был февраль, сугробы и мгла, странным образом проникавшая даже в дневной свет. На скамейках сидели те же неподвижные старухи; вверху, над черной сеткой ветвей, серело то же небо, похожее на ветхий, до земли провисший под тяжестью спящего Бога матрац.

Была, впрочем, и разница. Этой зимой по аллеям мела какая-то совершенно степная метель, и, попадись мне навстречу пара волков, я совершенно не удивился бы. Бронзовый Пушкин казался чуть печальней, чем обычно — оттого, наверно, что на груди у него висел красный фартук с надписью: «Да здравствует первая годовщина Революции». Но никакого желания иронизировать по поводу того, что здравствовать предлагалось годовщине, а революция была написана через «ять», у меня не было — за последнее время я имел много возможностей разглядеть демонический лик, который прятался за всеми этими короткими нелепицами на красном.

Уже начинало темнеть. Страстной монастырь был еле виден за снежной мглой. На площади перед ним стояли два грузовика с высокими кузовами, обтянутыми ярко-алой материей; вокруг колыхалась толпа, и долетал голос оратора — я почти ничего не разобрал, но

смысл был ясен по интонации и пулеметному «р-р» в словах «пролетариат» и «террор». Мимо меня прошли два пьяных солдата, за плечами у которых качались винтовки с примкнутыми штыками. Солдаты торопились на площадь, но один из них, остановив на мне наглый взгляд, замедлил шаг и открыл рот, словно собираясь что-то сказать; к счастью — и его, и моему — второй дернул его за рукав, и они ушли.

Я повернулся и быстро пошел вниз по бульвару, гадая, отчего мой вид вызывает постоянные подозрения у всей этой сволочи. Конечно, одет я был безобразно и безвкусно — на мне было грязное английское пальто с широким хлястиком, военная — разумеется, без кокарды — шапка вроде той, что носил Александр Второй, и офицерские сапоги. Но дело было, видимо, не только в одежде. Вокруг было немало людей, выглядящих куда более нелепо. К примеру, на Тверской я видел совершенно безумного господина в золотых очках, который, держа в руках икону, шел к черному безлюдному Кремлю — но никто не обращал на него внимания. Я же постоянно ловил на себе косые взгляды и каждый раз вспоминал, что у меня нет ни денег, ни документов. Вчера в привокзальном клозете я нацепил было на грудь красный бант, но снял его сразу же после того, как увидел свое отражение в треснутом зеркале; с бантом я выглядел не только глупо, но и вдвойне подозрительно.

Впрочем, возможно, что никто на самом деле не задерживал на мне взгляда дольше, чем на других, а виной всему были взвинченные нервы и ожидание ареста. Я не испытывал страха смерти. Быть может, думал я, она уже произошла, и этот ледяной бульвар, по которому я иду, не что иное, как преддверие мира теней. Мне,

кстати, давно уже приходило в голову, что русским душам суждено пересекать Стикс, когда тот замерзает, и монету получает не паромщик, а некто в сером, дающий напрокат пару коньков (разумеется, та же духовная сущность).

О, в каких подробностях увидел я вдруг эту сцену! Граф Толстой в черном трико, широко взмахивая руками, катил по льду к далекому горизонту; его движения были медленны и торжественны, но двигался он быстро, так, что трехглавый пес, мчавшийся за ним с беззвучным лаем, никак не мог его догнать. Унылый красно-желтый луч неземного заката довершал картину. Я тихо засмеялся, и в этот самый момент чья-то ладонь хлопнула меня по плечу.

Я шагнул в сторону, резко обернулся, ловя в кармане рукоять нагана, и с изумлением увидел перед собой Григория фон Эрнена — человека, которого я знал с детских лет. Но боже мой, в каком виде! Он был с головы до ног в черной коже, на боку у него болталась коробка с маузером, а в руке был какой-то несуразный акушерский саквояж.

— Рад, что ты еще способен смеяться, — сказал он.

— Здравствуй, Гриша, — ответил я. — Странно тебя видеть.

— Отчего же?

— Так. Странно.

— Откуда и куда? — бодро спросил он.

— Из Питера, — ответил я. — А вот куда — это я хотел бы узнать сам.

— Тогда ко мне, — сказал фон Эрнен, — я тут рядом, один во всей квартире.

Глядя друг на друга, улыбаясь и обмениваясь бессмысленными словами, мы пошли вниз по бульвару. За

то время, пока мы не виделись, фон Эрнен отпустил бородку, которая сделала его лицо похожим на проросшую луковичу; его щеки обветрились и налились румянцем, словно несколько зим подряд он с большой пользой для здоровья катался на коньках.

Мы учились в одной гимназии, но после этого виделись редко. Пару раз я встречал его в петербургских литературных салонах — он писал стихи, напоминавшие не то предавшегося содомии Некрасова, не то поверившего Марксу Надсона. Меня немного раздражала его манера нюхать на людях кокаин и постоянно намекать на свои связи в социал-демократических кругах. Впрочем, последнее, судя по его нынешнему виду, было правдой. Было поучительно видеть на человеке, который гораздо был в свое время поговорить о мистическом смысле Св. Троицы, явные знаки принадлежности к воинству тьмы — но, разумеется, в такой перемене не было ничего неожиданного. Многие декаденты вроде Маяковского, учуяв явно адский характер новой власти, поспешили предложить ей свои услуги. Я, кстати, думаю, что ими двигал не сознательный сатанизм — для этого они были слишком инфантильны, — а эстетический инстинкт: красная пентаграмма великолепно дополняет желтую кофту.

— Как дела в Питере? — спросил фон Эрнен.

— А то сам не знаешь, — сказал я.

— Верно, — поскучнев, согласился фон Эрнен. — Знаю.

Мы свернули с бульвара, перешли мостовую и оказались у семиэтажного доходного дома прямо напротив гостиницы «Палас» — у дверей гостиницы стояли два пулемета, курили матросы и трепалась на ветру крас-

ная мулета на длинной палке. Фон Эрнен дернул меня за рукав.

— Глянь-ка, — сказал он.

Я повернул голову. На мостовой напротив подъезда стоял длинный черный автомобиль с открытым передним сиденьем и кургузой кабинкой для пассажиров. На переднее сиденье намело изрядно снега.

— Что? — спросил я.

— Мой, — сказал фон Эрнен. — Служебный.

— А, — сказал я. — Поздравляю.

Мы вошли в подъезд. Лифт не работал, и нам пришлось подниматься по темной лестнице, с которой еще не успели ободрать ковровую дорожку.

— Чем ты занимаешься? — спросил я.

— О, — сказал фон Эрнен, — так сразу не объяснишь. Работы много, даже слишком. Одно, другое, третье — и все время стараешься успеть. Сначала там, потом здесь. Кто-то же должен все это делать.

— По культурной части, что ли?

Он как-то неопределенно наклонил голову вбок. Я не стал расспрашивать дальше.

Поднявшись на пятый этаж, мы подошли к высокой двери, на которой отчетливо выделялся светлый прямоугольник от сорванной таблички. Дверь открылась, мы вошли в темную прихожую, и на стене немедленно задребезжал телефон. Фон Эрнен снял трубку.

— Да, товарищ Бабаясин, — заорал он в эбонитовую чашку. — Да, помню... нет, не присылайте... Товарищ Бабаясин, да не могу я, ведь смешно будет... Только представить — с матросами, это же позор... Что? Приказу подчиняюсь, но заявляю решительный протест... Что?

Он покосился на меня, и, не желая смущать его, я прошел в гостиную.

Пол там был застелен газетами, причем большинство из них было уже давно запрещено — видимо, в этой квартире сохранились подшивки. Видны были и другие следы прежней жизни — на стене висел прелестный турецкий ковер, а под ним стоял секретер в разноцветных эмалевых ромбах — при взгляде на него я сразу понял, что тут жила благополучная кадетская семья. У стены напротив помещалось большое зеркало. Рядом висело распятие в стиле модерн, и на секунду я задумался о характере религиозного чувства, которое могло бы ему соответствовать. Значительную часть пространства занимала огромная кровать под желтым балдахином. То, что стояло на круглом столе в центре комнаты, показалось мне — возможно, из-за соседства с распятием — натюрмортом с мотивами эзотерического христианства: литровка водки, жестяная банка от халвы в форме сердца, ведущая в пустоту лесенка из лежащих друг на друге трех кусков черного хлеба, три граненых стакана и крестообразный консервный нож.

Возле зеркала на полу валялись тюки, вид которых заставил меня подумать о контрабанде; пахло в комнате кисло, портянками и перегаром, и еще было много пустых бутылок. Я сел за стол.

Вскоре скрипнула дверь, и вошел фон Эрнен. Он снял кожанку, оставшись в подчеркнуто солдатской гимнастерке.

— Черт знает что поручают, — сказал он, садясь, — вот из ЧК звонили.

— Ты и у них работаешь?

— Избегаю как могу.

— Да как ты вообще попал в эту компанию?

Фон Эрнен широко улыбнулся.

— Вот уж что легче легкого. Пять минут поговорил с Горьким по телефону...

— И что, сразу дали маузер и авто?

— Послушай, — сказал он, — жизнь — это театр. Факт известный. Но вот о чем говорят значительно реже, это о том, что в этом театре каждый день идет новая пьеса. Так вот теперь, Петя, я такое ставлю, такое...

Он поднял руки над головой и потряс ими в воздухе, словно звеня монетами в невидимом мешке.

— Дело даже не в самой пьесе, — сказал он. — Если продолжить это сравнение, раньше кто угодно мог швырнуть из зала на сцену тухлое яйцо, а сейчас со сцены каждый день палят из нагана, а могут и бомбу кинуть. Вот и подумай — кем сейчас лучше быть? Актером или зрителем?

Это был серьезный вопрос.

— Как бы тебе ответить, — сказал я задумчиво. — Этот твой театр слишком уж начинается с вешалки. Ею же он, я полагаю, и кончается. А будущее, — я ткнул пальцем вверх, — все равно за кинематографом.

Фон Эрнен хихикнул и качнул головой.

— Но ты все же подумай над моими словами, — сказал он.

— Обещаю, — ответил я.

Он налил себе водки и выпил.

— Ух, — сказал он. — Насчет театра. Ты знаешь, кто сейчас комиссар театров? Мадам Малиновская. Вы ведь знакомы?

— Не помню. Какая еще к черту мадам Малиновская.

Фон Эрнен вздохнул. Встав, он молча прошелся по комнате.

— Петя, — сказал он, садясь напротив и заглядывая

мне в глаза, — мы тут шутим, шутим, а я ведь вижу, что ты не в порядке. Что у тебя стряслось? Мы с тобой, конечно, старые друзья, но даже несмотря на это я мог бы помочь.

Я решил.

— Признаюсь тебе честно. Ко мне в Петербурге три дня назад приходили.

— Откуда?

— Из твоего театра.

— Как так? — подняв брови, спросил он.

— А очень просто. Пришли трое с Гороховой, один представился каким-то литературным работником, а остальным и представляться было не надо. Поговорили со мной минут сорок, работник этот в основном, а потом говорят — интересная у нас беседа, но продолжить ее придется в другом месте. Мне в это другое место идти не хотелось, потому что возвращаются оттуда, как ты знаешь, довольно редко...

— Но ты же вернулся, — перебил фон Эрнен.

— Я не вернулся, — сказал я, — я туда попросту не пошел. Я, Гриша, убежал от них. Знаешь, как в детстве от дворника.

— Но почему они к тебе пришли? — спросил фон Эрнен. — Ты же человек от политики далекий. Натворил что-нибудь?

— Да ничего я не натворил. Смешно рассказывать. Я одно стихотворение напечатал — с их точки зрения, в какой-то не такой газете — так вот там рифма была, которая им не понравилась. «Броневи́к» — «лишь на миг». Ты себе можешь это представить?

— А о чем было стихотворение?

— О, совершенно абстрактное. Там было о потоке времени, который размывает стену настоящего, и на

ней появляются все новые и новые узоры, часть которых мы называем прошлым. Память уверяет нас, что вчерашний день действительно был, но как знать, не появилась ли вся эта память с первым утренним лучом?

— Не вполне понимаю, — сказал фон Эрнен.

— Я тоже, — сказал я, — не в этом дело. Главное, что я хочу сказать — никакой политики там не было. То есть мне так казалось. А им показалось иначе, они мне это объяснили. Самое страшное, что после беседы с их консультантом я действительно понял его логику, понял так глубоко, что... Это было до того страшно, что когда меня вывели на улицу, я побежал — не столько даже от них, сколько от этого понимания...

Фон Эрнен поморщился.

— Вся эта история — чушь собачья, — сказал он. — Они, конечно, идиоты. Но ты и сам хорош. Это ты из-за этого в Москву приехал?

— Ну а что было делать? Я ведь, когда убегал, отстреливался. Ты-то понимаешь, что я стрелял в сотканный собственным страхом призрак, но ведь на Гороховой этого не объяснить. То есть я даже допускаю, что я смог бы это объяснить, но они бы обязательно спросили — а почему, собственно, вы по призракам стреляете? Вам что, не нравятся призраки, которые бродят по Европе?

Фон Эрнен взглянул на меня и погрузился в размышления. Я смотрел на его ладони — он еле заметно тер их о скатерть, будто вытирая выступивший пот, а потом вдруг убрал под стол. На его лице отразилось отчаяние, и я почувствовал, что наша встреча и мой рассказ ставят его в крайне неприятное положение.

— Это, конечно, хуже, — пробормотал он. — Но хорошо, что ты доверишь мне. Я думаю, мы это уладим...

Уладим, уладим... Сейчас звякну Алексею Максимовичу... Руки на голову.

Последние слова я понял только тогда, когда увидел лежащее на скатерти дуло маузера. Поразительно, но следующее, что он сделал, так это вынул из нагрудного кармана пенсне и нацепил его на нос.

— Руки на голову, — повторил он.

— Ты что, — сказал я, поднимая руки, — Гриша?

— Нет, — сказал он.

— Что «нет»?

— Оружие и бумаги на стол, вот что.

— Как же я положу их на стол, — сказал я, — если у меня руки на голове?

Он взвел курок своего пистолета.

— Господи, — сказал он, — знал бы ты, сколько раз я слышал именно эту фразу.

— Ну что же, — сказал я. — Револьвер в пальто. Какой ты удивительный подлец. Впрочем, я это с детства знал. Зачем тебе все это? Орден дадут?

Фон Эрнен улыбнулся.

— В коридор, — сказал он.

Когда мы оказались в коридоре, он, по-прежнему держа меня на прицеле, обшарил карманы моего пальто, вынул оттуда револьвер и сунул его в карман. В его движениях была какая-то стыдливая суетливость, как у впервые пришедшего в публичный дом гимназиста, и я подумал, что ему, может быть, до этого не приходилось делать подлость так обыденно и открыто.

— Отопри дверь, — велел он, — и на лестницу.

— Позволь пальто надеть, — сказал я, лихорадочно думая, могу ли я сказать этому возбужденному собственной низостью человеку хоть что-нибудь, способное изменить рисовавшееся развитие событий.